

БЫЛЬ | Благодарение и восторг тянут меня к тем памятным дням

# «Унесу я рябиновый вкус твоих губ»

НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

**Посчастливилось: я получил в подарок книгу «Они учились в Литинституте» (1933–2006). Первым делом я устремил свое внимание к студентам 1952 года, – того курса, который окончил. Не о всех там выпускниках говорится, а об отдельных и вовсе умалчивается. В их безымянность попал «Кривошеков Л. Д.», поэт, прозаик из Алма-Аты.**

## Испытание на прочность

60 лет тому назад я должен был защищать в Литературном институте им. А. М. Горького диплом по семинару Валентина Катаева. Рассказы, обсуждавшиеся на семинаре, Валентин Петрович советовал включить в диплом. Я перечитал рассказы и решил сжечь и заменить их повестью «Испытание на прочность». Повестью спорной. Ее и страшилось руководство Литинститута, и, скорее всего, стремилось отомстить мне за независимость.

Барачной скудости выкорыш, а потому и неутомимый выдумщик, я даже не мог предположить, будто бы мне доведется жить в комнате с камином. Пасть камина, говорили, – из французского кирпича; железоканальная решетка, которая обвивала его устье, не допускали, чтобы применялась обыкновенная разжигка. Если я разводил огонь, то выбирал на подтопку привлекательные заготовки: скрутки березовой коры, сосновые лучины, еловый хворост, – спиральные срезы – бритвенноострой финкой с кленовых стволов. Все это заготавливал кочегар Федул Губы Надул и хранил в чуланчике. Он выполнял поручение комендантши Анны Романовны. Ее он сопоставлял с виолончелью. Вид молодой женщины превосходил изяществом виолончель, однако мы сие стихотворное сопоставление хвалили как находку. Впоследствии узналось, что сравнение ему придумал Леонид Данилович Кривошеков.

Замочек на чуланчике я открыл гвоздиком. Детские упражнения по открыванию замков позже меня выручали.

Я расслоил на ленты и пленки скрутки березовой коры, обложил всем декоративно-привлекательным заготовкой для разжигки. Не спешил с применением розовоголовых спички, загоравшейся от чирканья о зубы, ногти и подковки ботинок. Я знал, что сохранил решение, но не умел ущемить жалость: ведь я собирался уничтожить вещи, которые долго лелеял в замеслах, правда, писал вздохлест.

Был июнь. Допекал жарой. Студенты поразъехались, за исключением отдельных выпускников: им предстояла защита. Среди них почти безнадежно маячил я. Вызов к директору Фатееву Петру Степановичу и его заместителю по творчеству Смирнову Василию Александровичу (он же секретарь партийной организации) отличался категоричным требованием: «Защищаться будешь в новом учебном году». Я столь же категорично не согласился с ними: «Защищаться буду в этом году». Причины переноса они не объясняли.

## Кафедра Паустовского

Кафедру творчества возглавлял знаменитый прозаик Константин Паустовский. Я зашел к нему. Он не разделял отношения «головки» к моему диплому. Они говорили Константину Георгиевичу, что я должен «почистить» язык, перенасыщенный южноуральскими речениями. По мнению Паустовского, я обогащал русскую литературную лексику, под чем надо было поклоняться, а они устраивают унижительное гонение. В день моей защиты у Константина Паустовского шестидесятилетие, но он постарается приехать в институт. Мой дипломный руководитель Валентин Катаев исчез, хотя осталось меньше недели до защиты. Тогда я намершиво думал, что его нет ни в Перedelкинe, ни в Москве, ни в Париже. Париж я прилетел советским обиталищем Катаева, ибо он ездил туда за гонорарами от постановок своих одноактных пьес и потом искусно рассказывал о приключенских наблюдениях, особенно упивался тем, что видел на набережной ходившего боси-

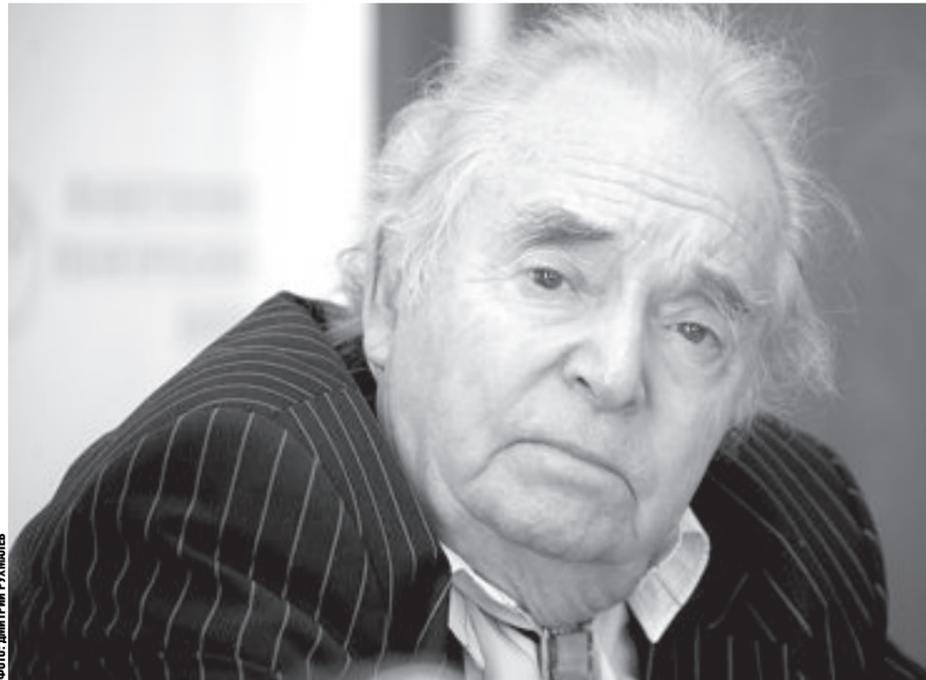


ФОТО: ДМИТРИЙ РУЖИЛОВ

ком нефтяного короля Онассиса, яхта которого стояла на якоре неподалеку от порта, откуда магнат возил на нее дам, обжелавших принять золотую ванну.

Диплом Константин Паустовский для укрепления защиты предложил отдать на рецензию критику Замошкину Николаю Ивановичу, недавнему заву творческой кафедры Литинститута, а тогда заместителю главного редактора журнала «Октябрь» Федору Ивановичу Панферову, романисту, лауреату Государственной премии, депутату Верховного Совета СССР. А на другую рецензию он определил отдать молодому таланту, прозаику Евдокимову Николаю Семеновичу, кто знал металлургов (мои герои были металлургами) и ярко писал о них.

В комнате нас было двое. Теплень дня удивила Кривошекова тем, что я собираюсь растопить камин, и он попросил меня не затевать огня до осени. Но я воспротивился отлагательству: собираюсь зажечь камин не ради обогрева комнаты, а ради уничтожения рассказов, в которых разочаровался.

Пламя польхнуло разноцветно благодаря пленке, отделенной от березовой коры. По бедности я писал на разной бумаге, проникнутой прожелью газетчины; на листах с занозами для занесения показаний счетчика, на фидерах; на блокнотах, куда заносились переключения, производившиеся на доменной подстанции, ну и ремонтные и проверочные работы во взрывном коридоре в шинном помещении в аккумуляторной.

– Жалеешь, – спросил Кривошеков, едва от моей прозы остались черные кружева испепеленной бумаги.

– Нет, – ответил я. – Вошел во вкус. Я не намеревался сжигать стихи, однако и поэзию, даже переводы с французского, ликвидирую.

– Напрасно. У Сашки-летчика не хватает стихов на книгу. Твоя лирика ему пригодится. Если бы снарядом не оторвало Сашке ногу, он бы рифмовал поживей. Подари Сашке лирику.

– Примет ли?

– Он нуждается в лирике.

Сашка подрабатывал в ТАССе. Из общежития Литинститута он добирался пешком в ТАССовское здание, где находилось присутствие нашего товарища из фронтовиков. Кривошеков, тоже фронтовик, созвонился с ним. Телефон, единственный тогда в этой части городка писателей (здесь сидел директор), находился в нашей даче. Он служил связью со столицей, страной, заграницей. Кривошеков созвонился с другом и в тот же день передал Сашке мою изумительную ценность: тетрадь с атласными страницами в клеточку, подаренную мне отпускником, служившим на японской границе в Китае. Наши и японские пограничники обменивались разными разностями, отсюда я и удостоился экзотической привлекательности тетради.

Хотя мы с Леонидом Даниловичем учились на одном курсе и в дипломное время обретались

в одной комнате, нам не удавалось откровенничать. Возвратясь от Сашки в Перedelкинe (видимо, у них возник разговор о моих затруднениях), Кривошеков попросил у меня повесть. Я держал при себе оригинал повести, написанный от руки.

И он согласился его прочитать на рассвете. Я встревоженно проснулся.

Кривошеков сидел на кровати, сложив ноги калачиком. Поза была привычная, он вырос в Казахстане. Мать, уборщица, лишь изредка могла помогать ему.

## И офицеры плачут

С десяти лет я перестал плакать. И то, что Кривошеков, фронтовой офицер, плачет, потрясло меня. Слезы из его глаз катились широко. Он всхлипывал. Я спросил: что с ним? Так появилась на Леонида Даниловича преддипломная судьба. Повесть покоряла дарованием и проявляемой к ней несправедливостью директора и его заместителя по творчеству. Кривошеков находил, что повесть создана отлично и что отлагать на будущий год ее несправедливо.

Вечером в нашей комнате возникли Фатеев и Смирнов. И сразу заговор: отложить защиту. Кривошеков, обычно молчун, стал им возражать. Он заметил их руководящие тенденции. Почти все студенты-националы из федеративных республик за их посредственные, как правило, дипломы вознаграждаются по высокому счету, а во время обучения им, получающим стипендии в посольских представительствах, которые им даются на развитие национальной культуры и составляющих крупные суммы, если сравнивать их с нашими ничтожными стипендиями. Кроме того, именные стипендии великих русских писателей даются не нам, их землякам, а тем, кто из федераций, будто бы нам не надо развивать национальную культуру. Студенты из РСФСР – бедняки, названы мною «обдергаями». Студенты из федеративных республик фланговых одеты, а мы по-бедняцки, лишь фронтовики-офицеры приличны своей формой, ну да отдельные москвичи и москвички.

Яростная убежденностью доказательность оглушила Фатеева и Смирнова, и они ретировались, приняв мою настоятельность до сгруппирования рецензентских отзывов. Все рецензии были положительны, и только одна, едва начата, поражала бездоказательным приговором скрывшегося куда-то прозаика, увенчанного за трехтомник лауреатством: он, дескать, ни разу не читал такую очернительскую повесть. Я, выкрутив из пишущей машинки его клеветнические словеса, не отдал их ни в дипломную комиссию, ни заву творческой кафедры Константину Георгиевичу Паустовскому.

## Щедрость Бориса Бедного

Мой дипломный руководитель Валентин Петрович Катаев не обнаружился на защите. Зато представлял меня на защите Смирнов тоном

праведника. Возражал ему первым Николай Семенович Евдокимов, возражал со страстной разоблачительностью. За ним спокойно выступил Борис Бедный, ставший к тому времени родоначальником послевоенного русского рассказа. Комната общежития, где когда-то обреталась дворня помещика Яковлева, отца Александра Герцена, давала приют дюжине студентов. Там, в углу наискосок, находилась койка Бориса Бедного, а соседнюю занимал я, опыты которого перво-наперво читал Борис Васильевич. Бедный признавал мое дарование и выказывал убеждение, что в прозе я сумею достичь основательных результатов. Это он высказал на защите, моментами укоряя Смирнова в предубежденности и непедагогичности.

Осенью, возвратясь с Магнитки, я встретил Бедного около церкви, где венчался с Натальей Гончаровой Александр Пушкин. Напротив церкви, через шоссе, находился магазин пишущих машинок, а при нем – мастерская пишущих машинок. В магазине он купил для меня за 600 рублей миниатюрную машинку «Эрика». Необычна была забота Бориса Бедного. Хотя я и знал о его бескорыстной доброжелательности, однако к другому из соучеников он не был столь спасительно щедр.

Бедный говорил не только о повести, но и о сожженных мной рассказах, говорил сожалючи. Он был старостой семинара Константина Паустовского и приглашал на свой семинар и даже обсудил с присутствием Паустовского мои рассказы, основательно раскритикованные, но и грандиозно хвалимые за отдельные характеры и находки в пейзаже. Идя после семинара по коридору, я услышал, как студент, который часто пользовался хемингуэйчиками, сказал соседу: «Сегодня на семинаре Паустовского разгромили рассказы Кольки Воронова». Тогда в институте студенты получали удовольствие от разгрома на семинарах.

## Презрение к смерти

После неопровержимого выговора начальству Литинститута секретно-тихий Леонид Кривошеков открылся мне в своей военной судьбе. На фронт он попал, назначенный командиром санитарно-химического отделения. Я и не мог предположить, что Юлия Друнина, алощекая поэтесса, которая сидела в центре нашей аудитории, не просто служила в его отделении, а была первой его любовью. Служба санитарки из Зауралья (город Тюмень) отличалась бесстрашием. Ему она страстно запечатлелась тем, что сидела в землянке «устами навстречу устам». Чем Юлию колоссально запомнилась многим в их части: тем, что она пыталась спасти его самопожертвенно во время бомбежки и артобстрела. Уединяясь, они прятались в трехнакатной землянке. И внезапно ощутили, что снаряд угодит между накатами. Юлия рванула Леонида за голову и накрыла своей грудью. Снаряд врезался между накатами, но не взорвался. Едва они вышли из землянки, то очутились в черной мгле, поднятой взрывами бомб и снарядов. Зависть к Юлии-красавице вызвала у верхних командиров опасные уловки, и они посылали Леонида в разведку «за языком», чтобы его убили, а она бы досталась одному из них. С беременностью женщин отпустили с фронта, и Юлию, зачавшую, отправили в тыл. Тем Леонид Кривошеков и спасся.

На моей защите дипломную комиссию возглавлял Всеволод Иванович Иванов. Леонид Кривошеков парировал с Василием Смирновым, и, наверное, это сказало на том, что в книге «Они учились в Литинституте» нет ни слова о поэте и прозаике Леониде Кривошекове из Алма-аты, а только строка: «Кривошеков Л. Д.».

Единственное упоминание о Леониде Кривошекове в разделе: «Друнина Юлия Владимировна: «В первом же бою нас поразило ее спокойное презрение к смерти, – вспоминает в книге «Идут на войну девчата» Леонид Кривошеков».

В моей незакатной памяти хранится его стихотворение «Унесу я рябиновый вкус твоих губ, как прощальную весточку лета...»